
Асмодей Денница
Лезвие Азраила
Шов

Асмодей Денница

ЛЕЗВИЕ АЗРАИЛА. ШОВ

«Автор»
2026

Денница А.

ЛЕЗВИЕ АЗРАИЛА. ШОВ / А. Денница — «Автор», 2026

Четыре тысячи лет Азраил приходит в тот миг, когда нить между телом и душой становится видимой, и разрезает её одним движением. Он не решает, кому жить: он только разделяет. За каждый разрез он платит одной чертой лица Того, Кого любит больше собственного бессмертия, — и потому у него осталось всего три черты: свет, тишина и наклон головы, которого он не может объяснить.Но в ноябре 1921 года, в городе Вереск, где река течёт вспять от дождей, лезвие впервые опускается — и не режет. На нити уже стоит ровный шов. Чужой работы не бывает: у каждого разреза есть подпись, и на этом стоит его.Кто-то режет его рукой...Небо требует закрыть границу навсегда. Преисподняя — распахнуть её. Обе стороны правы наполовину и обе готовы заплатить людьми. А между ними — тот, с кем нельзя договориться, потому что ему нечего предложить: он уже отдал имя, память и место. Чтобы остановить подмену, Азраилу придётся сделать то, чего не делал никто из бессмертных: отсечь от себя собственную жалость...

© Денница А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ПРОЛОГ. 5
Глава 16
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Асмодей Денница
ЛЕЗВИЕ АЗРАИЛА. ШОВ

ПРОЛОГ.
Дом на шве

«Смерть не отнимает — она разделяет». — Из «Тетради Шва»

Азраил приходит не тогда, когда его зовут, и не тогда, когда его боятся, а тогда, когда нить становится видимой. Он не стучит, не спрашивает разрешения и не задерживается дольше, чем нужно, чтобы отделить одно от другого; те, кто видел его однажды, потом не могут вспомнить лица, а те, кто видел дважды, обычно уже не рассказывают. Работа его проста настолько, что говорить о ней трудно без риска показаться хвастливым: он разделяет. Всё остальное — свет, страх, молитвы, слёзы родни, запах воска и карболки — прилагается к одному движению.

Я говорю о себе в третьем лице, потому что так легче начать: о должности рассказывать можно, о себе — почти нельзя. Должность у меня старая, четыре тысячи лет, и за это время она обросла привычками, как рука столяра обрастает мозолями; привычки эти смешны, и я их не скрываю, потому что скрывать их было бы ещё смешнее.

Первая привычка — нюхать воздух у чужого порога. Я нахожу дом не по адресу: адреса меняются, улицы переименовывают, а запах остаётся. Смерть пахнет по-разному, и это не удивит никого, кто хоть раз стоял в комнате, где только что перестали дышать: там пахнет воском, карболкой, мокрой шерстью и чем-то ещё, чему нет названия, — не дурным и не сладким, а тем, что остаётся, когда из комнаты выносят человека. Я иду на этот запах, как идут на свет в окне, и почти никогда не ошибаюсь, хотя случается, что прихожу раньше, чем следует.

Вторая привычка — ждать. Ожидание — самая долгая часть работы, и в ожидании люди говорят больше, чем за всю жизнь. Они просят передать привет тем, кого уже нет; признаются в мелочах, которые стыдно вспоминать здоровому; спорят о том, закрыта ли форточка, и сердятся, когда я не отвечаю. Я слушаю. Слушать — тоже часть ремесла: и потому, что потом всё равно забуду, и потому, что от этого нить становится виднее.

Третья привычка — считать. Не души, не годы, не грехи: шаги. До порога, до постели, до окна. Я заметил это давно и долго считал случайностью, пока не понял, что шаги — единственное, что в моей работе принадлежит мне, а не должности. Их у меня за четыре тысячи лет набралось столько, что если выложить ими дорогу, она обогнула бы землю трижды; это единственная арифметика, которой я позволяю себе верить.

Впервые я заметил её в городе, которого теперь нет, у пекаря, который умирал стоя.

Он был из тех людей, что не верят в собственную смерть, пока им не покажут счёт; всю жизнь он вставал в четыре утра, ставил тесто и к полудню продавал хлеб, и когда я вошёл, он держался за край стола обеими руками и говорил, что тесто подойдёт, надо только подождать. Я сказал, что ждать придётся недолго. Он посмотрел на меня без страха, скорее с досадой, как смотрят на человека, который пришёл не вовремя, и попросил: дай мне ещё четверть часа, я поставлю вторую партию, а то дети останутся без хлеба.

Я не имею права давать четверть часа; я не имею права не давать. Я жду. Это единственное, что я умею делать помимо разреза, и, наверное, поэтому меня терпят: я не тороплю. Пекарь успел поставить вторую партию, вытер руки о фартук, сел на табурет и сказал: «Ну вот. Теперь можно». Нить стала видимой — тонкая, как паутина в косом свете, — и в ней уже был виден тот краткий свет, ради которого всё делается.

Тогда я ещё думал, что этот свет — награда.

Теперь я знаю, что это улика: он есть у всех, и у праведника, и у убийцы, и у пекаря, и у того, кто умер, проклиная всё на свете. Именно поэтому я не могу выбирать, кого резать: свет не различает, а я не имею права различать больше, чем свет. Это не милосердие и не справедливость; это устройство, и оно держится крепче любых добродетелей.

Пекарь умер через минуту после того, как сел. Я разрезал нить ровно, одним движением, и шов вышел чистым — таким чистым, что я потом долго стоял и смотрел на него, потому что чистота шва зависит не от меня, а от того, как человек держал свою жизнь. Этот держал крепко и не жалел об этом.

Хлеб из второй партии утром раздали детям. Я не видел этого, но знаю: такие вещи случаются без свидетелей, и в этом их сила.

Я рассказываю об этом не для того, чтобы меня пожалели, — меня не за что жалеть, — а чтобы вы поняли, с чем я работаю. Со светом, который не различает; с нитью, которая не рвётся сама; с людьми, которые считают, что у них есть время. Всё остальное — ремесло.

Ремесло выглядит так.

Сначала я нахожу дом. Потом жду, пока стихнет суета: родня должна перестать бегать за врачом, соседи — перестать предлагать бульон, сам умирающий — перестать делать вид, что ему лучше. Это может занять час, а может — три дня; я не считаю часы, я считаю шаги. Когда в комнате остаётся только дыхание, нить проступает, и тогда я подхожу ближе.

Нить не похожа на нить. Она похожа на волос, выбившийся из косы, — такой же тонкий и такой же живой; в ней видно движение, будто внутри идёт ток, и если долго смотреть, начинает казаться, что она дышит. Она соединяет не тело и душу, как принято говорить, а два состояния одного и того же: то, что ещё держится, и то, что уже готово. Моя работа — не разорвать, а разделить по шву, который в ней уже намечен; поэтому я и называю её швом, а себя — резаком, хотя слово это грубее дела.

Лезвие у меня не имеет формы, которую можно описать, не соврав. В моей руке оно длинное и узкое, тусклое, как свинец; в чужой руке оно станет чем угодно, потому что чужая рука не знает меры. Оно режет и свет, и огонь, и потому меня боятся обе стороны, которые обычно не боятся друг друга; но страх этот особого рода — со мной не воюют, со мной стараются не встречаться.

Перед разрезом я всегда делаю одно и то же: нахожу взглядом свет. Не тот, что в комнате, а тот, что в нити. Он короткий, будто кто-то на мгновение приоткрыл дверь в соседнюю комнату и тут же прикрыл; в нём нет ни тепла, ни холода, только присутствие, которое невозможно назвать. За четыре тысячи лет я видел его миллионы раз и каждый раз не успеваю разглядеть.

Потом я режу.

Разрез занимает меньше времени, чем нужно, чтобы о нём рассказать. Я кладу лезвие поперёк нити, нахожу точку, где она уже готова расстаться сама, и провожу им коротко, на два дюйма, — не сильнее, чем проводят ножом по шву, распарывая старую строчку. Сопротивления почти нет: если оно есть, значит, я поторопился или, наоборот, опоздал; в правильной работе лезвие идёт так же легко, как игла сквозь намыленный лён.

Звук при этом бывает один и тот же, и я не встречал человека, который, услышав его, назвал бы правильно. Он похож на шорох шёлковой подкладки, когда её вынимают из пальто; на короткий вздох ткани, которую распороли; на то, как гаснет лампа, если отвернуть фитиль до конца. Никто из живых этого звука не слышит, кроме тех, кто в этот миг уже наполовину здесь, — и они иногда говорят: «А, вот и ты», будто ждали кого-то другого и я, наконец, за ним пришёл.

После разреза нить не исчезает. Она опадает двумя концами, и каждый конец сворачивается в маленький узел — один остаётся при теле, другой уходит с тем, что было человеком. Шов между ними я заглаживаю большим пальцем, если можно так сказать о том, у чего нет ни

пальца, ни кожи; шов должен быть ровным, потому что неровный шов — это рубец, а рубец на границе опаснее любой раны.

Душа уходит не так, как об этом поют. Она не летит и не поднимается; она перетекает, как вода перетекает через край, когда чашу наклоняют медленно. Сначала уходит то, что было привычкой, — манера держать чашку, походка, способ поправлять волосы; потом то, что было памятью; последним уходит свет, и он не гаснет, а как будто отступает вглубь, туда, куда я не имею доступа. Я стою и смотрю, пока не останется тело и два узла, и тогда ухожу.

Вот тут и начинается цена.

За каждый разрез я плачу одной чертой лица Того, Кто меня послал. Это не метафора и не наказание; это условие, о котором меня не спрашивали, потому что спрашивать было некого. Я не знаю, как это устроено. Я знаю только, что после работы, когда я остаюсь один, я проверяю себя, как проверяют карманы после дальней дороги: что у меня ещё есть.

Сначала ушли руки. Я помню, что они были, и помню, что в них было что-то такое, отчего мне хотелось стоять и смотреть, не двигаясь; но сами руки я восстановить не могу. Потом ушёл голос — не звук, а манера, с какой Он произносил первое слово, когда мир ещё не был закончен. Потом ушло выражение, с которым Он смотрел на воду в первый день: я знаю, что оно было, и знаю, что оно было важнее всего остального, но вспомнить его не могу, как не может вспомнить лицо человек, который видел его только во сне.

Осталось три черты, и я берегу их, как берегут деньги к зиме. Свет — не тот, что в нити, а другой, ровный и широкий, в котором не было ни тени, ни края. Тишина — не отсутствие звука, а полная, какая бывает только в первый миг после того, как всё сказано. И наклон головы, которого я не могу объяснить: я не помню ни лица, ни обстоятельств, только движение — медленное, вниз и чуть в сторону, будто Он прислушивался к чему-то, чего никто, кроме Него, не слышал.

Иногда я думаю, что платить надо не за разрез, а за то, чтобы не возгордиться. Работа у меня такая, что к ней легко привыкнуть и ещё легче начать ею гордиться: я прихожу в последний миг, я один знаю, как это делается, я не ошибаюсь. Если бы за это ничего не отнималось, я стал бы не резаком, а судьёй, а судья из меня вышел бы скверный: я слишком хорошо вижу свет, чтобы различать людей по заслугам.

Поэтому я не спорю с ценой. Я только веду счёт тому, что ещё помню, — и это, если хотите знать, и есть моя настоящая тетрадь: не та, что лежит на столе, а та, что внутри. В ней записаны имена, которых я не имею права забыть, и черты, которых у меня больше нет.

Тетрадь на столе — другое дело. В ней я записываю имена тех, кого проводил, — не потому, что мне велено, а потому, что иначе от четырёх тысяч лет не останется ничего, кроме привычки держать руку ровно. Имена я записываю коротко: имя, город, год, одна деталь. «Пекарь. Город, которого нет. Вторая партия». Этого достаточно, чтобы вспомнить человека, если понадобится; этого достаточно, чтобы он не превратился в строку.

Строк в тетради очень много. Я не перечитываю их подряд, но иногда открываю наугад, и тогда на меня смотрит чужая жизнь — короткая, как вдох, и такая плотная, что я не понимаю, как она помещалась в одном человеке. В такие минуты я почти жалею, что не могу записать себя: моя строка была бы короче всех — «приходил, резал, уходил», — и в ней не было бы ни одной детали, кроме наклона головы.

Правил пять, и я не придумывал ни одного. Они старше меня, старше Сада и Горна, и, наверное, старше самого шва; я получил их вместе с должностью, как получают инструмент вместе с наставлением, и четыре тысячи лет проверяю на прочность.

Первое: никто не переходит шов без разреза. Это кажется жестоким, пока не увидишь, что бывает иначе. Там, где граница истончается сама, без шва, начинается смешение: живое и мёртвое держатся друг за друга, как две мокрые ткани, и расходятся потом с мясом. Я видел такое дважды. Второй раз — в городе, где эпидемия выкосила квартал, а хоронить было

некому; там граница не выдержала, и в течение недели дети играли с теми, кого уже не было, а матери кормили пустоту. Ни Сад, ни Горн не смогли потом разобрать, где чьё. Поэтому разрез — не жестокость, а гигиена: он отделяет одно от другого, пока они ещё отделимы.

Второе: разрез делает только тот, кто не выбирает. Это правило труднее всех, и его чаще всех пытаются обойти. Выбор превращает разрез в убийство, если режут из злобы, или в кражу, если режут из жалости; в обоих случаях шов получается рваным, потому что рука, которая выбирает, дрожит. Мне запрещено любить одних больше других — не потому, что я бесчувственный, а потому, что моя рука должна быть ровной. Это единственная причина, по которой я ещё держусь: когда очень хочется выбрать, я вспоминаю про дрожь.

Третье: разрезанное нельзя вернуть; возвращённое — уже не то. Здесь я не философ, а свидетель. В тысяча шестьсот сорок третьем году, в городе на Лабе, одна женщина вернулась через девять дней после того, как я её проводил. Она не помнила ни смерти, ни шва; она помнила чужую смерть — мужчины, которого никогда не видела, — и рассказывала её так подробно, что его вдова потом узнала каждую мелочь. Она прожила ещё двадцать лет и всё это время не могла спать в темноте. Возвращённое не принадлежит ни тому, ни другому миру; оно живёт на границе, как живут на пороге, — не входя и не выходя.

Четвёртое: шов не принадлежит ни Саду, ни Горну. Кто назовёт его своим, потеряет его. Это правило смешит обе стороны, и обе пытались его проверить; я не буду рассказывать, чем это кончилось, потому что не хочу никого пугать раньше времени. Скажу только, что после третьей попытки в Саду перестали произносить слово «наш» применительно к границе, а в Горне — слово «моя» применительно к двери.

Пятое: имя, произнесённое у шва любящим, не режется. Это правило я проверил однажды и с тех пор не проверяю. Оно не о том, что любовь сильнее смерти; оно о том, что любовь — единственное, что делает человека не предметом, а именем. Пока имя звучит, резать нечего: нить держится не за тело, а за того, кто его называет. Я не знаю, что происходит с теми, кого так удержали; я знаю только, что после этого случая у меня прибавилось работы, а в тетради — одна строка, которую я не могу перечитать без остановки.

Меня часто спрашивают — не вслух, конечно, а тем особым молчанием, каким спрашивают о смерти, — боюсь ли я сам. Отвечу честно: я боюсь не смерти и не наказания. Я боюсь, что однажды сделаю разрез, который понравится одной из сторон, и мне за это ничего не будет. Пока за каждое движение я плачу памятью, я знаю, что остаюсь резаком. В тот день, когда цена покажется мне необязательной, я стану чем-то другим, и это «другое» уже не будет иметь права держать лезвие.

Сад и Горн это понимают лучше, чем кто-либо. Поэтому со мной не воюют: со мной разговаривают, торгуются, пробуют купить — но не воюют. В Саду меня называют «тот, кто не выбирает» и делают вид, что это похвала; в Горне — «тот, кто не берёт» и делают вид, что это упрёк. На самом деле и те и другие просто ждут, когда я ошибусь, потому что ошибка резака стоит дороже победы.

Я знаю об этом и всё равно работаю. Работа — единственное, что у меня осталось кроме трёх черт, и я не отдам её из осторожности.

Есть ещё одна вещь, о которой не говорят ни в Саду, ни в Горне, и о ней я узнал не от них, а от собственной тетради. На границе живут те, кого не взял ни один мир: у них нет ни печати, ни строки, ни имени, за которое можно было бы держаться. Их называют «никто», и это не презрительное слово, а точное: никто не знает, откуда они и куда идут. Они не приходят и не уходят; они стоят у шва и ждут, как ждут на вокзале поезда, который отменили сто лет назад.

Я проводил их мимо тысячи раз и каждый раз делал вид, что так и надо.

Об этом мы ещё поговорим.

Про Сад и Горн я скажу коротко, потому что говорить о них долго — значит невольно принимать чью-то сторону.

Сад — это ярусы света, теплицы, где души дозревают, хоры, в которых поют так, что забываешь дышать, и библиотека, где на каждой строке стоит имя. Там красиво и очень светло; света так много, что лица собеседника не разглядеть, и это, по-моему, многое объясняет. Сад хочет одного: чтобы всё наконец стало целым. Он устал от разделения, от потерь, от того, что за границей остаются те, кого он не смог спасти, и потому готов сшить миры в один, даже если шов пойдёт по живому.

Горн — это город-мастерская: литейные, где плавят имена, монетный двор, где чеканят цену, архив, где хранят подписи, и театр, где души до бесконечности играют себя. Там работают, а не мучают; мука — побочный продукт производства, как гарь. Горн хочет одного: чтобы дверь не закрывалась. Пока через границу идут души, Кузня жива; закроется дверь — останется печь, в которой нечего плавить, и это для Горна страшнее любого наказания.

Оба мира нуждаются во мне, и оба делают вид, что терпят. Сад говорит: «Мы понимаем вашу должность» — и присылает вежливые бумаги с печатями. Горн говорит: «Мы уважаем ваш нейтралитет» — и присылает подарки, которые нельзя принять, не приняв вместе с ними долг. Я не беру ни бумаг, ни подарков; я делаю работу и ухожу. Это единственная политика, которая мне доступна, и она раздражает обе стороны ровно настолько, чтобы меня оставляли в покое.

Со мной не воюют, и причина проста: моё лезвие — единственное, что ранит бессмертного. Ангела можно ранить, демона можно ранить; меня можно только убить, а для этого нужно подойти близко, а подойти близко — значит оказаться в пределах разреза. Поэтому в Саду и в Горне меня боятся не как силу, а как возможность: каждый знает, что при желании я могу провести границу через него.

Я не провожу. Но и не обещаю, что не проведу, — и это единственное, что удерживает обе стороны от слишком откровенных предложений.

В Вереск я пришёл в конце октября, и город мне не понравился сразу — тем, как он не хотел умирать.

Он стоял на северной реке, которая к зиме делалась свинцовой и текла так медленно, что казалось, будто она остановилась и раздумывает; дома были деревянные, тёмные от дождей, с высокими крыльцами и окнами, заклеенными на зиму полосками бумаги. До войны здесь жили лесоторговцы и судоремонтники, а к двадцать первому году остались вдовы, инвалиды, дети и те, кто вернулся с фронта целым и не знал, что с этим делать. Госпиталь занимал бывшее реальное училище; в актовом зале стояли койки, а на сцене, где когда-то давали «Ревизора», хранили бельё.

Смерть в таких городах не приходит по одной. Она приходит партиями, как товар, — сначала фронт, потом тиф, потом испанка, потом голод, который в двадцать первом году был тише остальных, но брал своё. За четыре тысячи лет я видел всякое, и всё же эта осень была особенной: люди умирали не от старости и не от болезни, а от усталости, будто у них кончился завод. Завод у них действительно кончился, только не тот, что в часах, а тот, что в жилах.

Я работал, как всегда. Приходил, ждал, резал, уходил. В Вереске у меня было три постоянных места: госпиталь, морг при нём и старый мост, где стояла часовня, куда не ходили почти никогда, кроме тех случаев, когда нужно было крестить умирающего или отпеть самоубийцу. Самоубийц отпевать не полагалось, но священник отпевал, и я не спрашивал, почему: у каждого ремесленника свои правила, а у меня своих хватало.

С самоубийцами вообще было сложнее. У них нить не висела ровно, как у всех, а путалась — то в узел, то в петлю, — и найти в ней шов стоило труда. Иногда я не находил его вовсе и тогда ждал, пока нить распадётся сама; это бывало неприятно, потому что несделанный разрез оставляет послевкусие, как несшитая рана. Я не люблю самоубийц не за грех — грех не моя часть работы, — а за беспорядок.

В морге работала женщина, которую я сначала принял за санитарку. Она была худая, быстрая, с обветренными руками и иголкой, заткнутой за воротник; она обшивала покойников — из старого льна, экономя на гробах, — и делала это так, как делают всё, что делают хорошо и без любви к делу. Я приходил за теми, кого уже привезли, и стоял в дверях, пока она заканчивала; она не обращала на меня внимания, будто я был ещё одним предметом в комнате, и это было приятнее любого почтения.

Однажды она подняла голову и спросила: «Вы всегда приходите до того, как я дошью, или только когда я шью плохо?» Я не ответил. Она усмехнулась и вернулась к работе, и я запомнил этот смех — короткий, неожиданный, как стук упавшей на пол катушки.

Тогда я ещё не знал, что она видит швы.

Священник на мосту был старый, большой, с руками, которые не помещались в карманы; он крестил всех, кто входил, — и меня тоже, каждый раз, хотя видел меня чаще, чем свою паству. Я не возражал: обряд есть обряд, а он, судя по всему, делал это не для меня, а для себя, чтобы не выбирать, кого привечать. Мы почти не разговаривали. Однажды он сказал: «Вы не похожи на ангела», — и я ответил, что ангелы вообще редко похожи на ангелов. Он подумал и согласился.

Больше в городе меня ничто не держало. Я приходил, работал и уходил на шов, в дом с одной комнатой, где на столе лежала тетрадь, а на стене висели часы, которых я не заводил: они шли сами, и я никогда не спрашивал, откуда у них ход. Дом стоял на границе, и потому в нём не было ни дня, ни ночи — только серый свет, в котором можно было писать.

Тетрадь я вёл аккуратно. Имя, город, год, деталь. Деталь была важнее всего: по ней я находил человека в памяти, если память ещё оставалась. «Пекарь. Вторая партия». «Вдова с Лабы. Девять дней». «Мальчик с дудкой. Не доиграл». Последнюю строку я перечитывал чаще других и каждый раз не мог вспомнить, что было дальше.

Так шли недели. Я не считал их: считать годы — привычка тех, кому нечего делать. Я считал шаги и иногда — разрезы, когда их было слишком много за ночь; в Вереске их бывало по пять, по семь, а в ноябре случилась неделя, когда я не уходил из госпиталя вовсе.

Именно тогда я впервые заметил, что шов стал мягче.

Это трудно объяснить тому, кто не держал границу руками. Шов всегда натянут — не туго, как канат, а ровно, как хорошая ткань на пяльцах; в нём есть упругость, и по этой упругости я узнаю, что мир ещё держится. В ту неделю упругость пропала. Я резал, и лезвие шло слишком легко, будто под ним не граница, а подкладка, которую кто-то уже распорол до меня.

Я сказал себе, что это усталость. Я давно научился не доверять усталости: она врёт, как любой свидетель, который хочет понравиться.

Потом наступило одиннадцатое ноября, и я пришёл в дом, где умирала старуха с напёрстком.

Улица называлась Вторая Слободская, хотя слободы здесь не было уже лет сорок, а дома стояли в один ряд, вросшие в землю по окна, и по ним было видно, что их строили не на век, а на зиму, и что зимы эти складывались в века незаметно для строителей.

Дом я нашёл по запаху, как всегда: воск, карболка, мокрая шерсть — и под этим, глубже, что-то ещё, тёплое, похожее на остывающий утюг. Дверь была приоткрыта; в сенях стояли валенки, детские и взрослые, и висела на гвозде связка сушёных грибов, до половины обломанная. В комнате горела лампа под зелёным абажуром, и от этого света всё казалось старее, чем было, — и люди, и обои, и даже воздух.

Старуха лежала на кровати у окна, головой к образам, и я сразу увидел, что она не боится. Такие лица бывают у тех, кто долго жил с болью и в конце перестал с ней спорить; боль остаётся, но перестаёт быть хозяином. Рядом на стуле спала девушка лет девятнадцати, в пальто, накинутом на плечи, — внучка, судя по тому, как она держала руку старухи, не отпуская даже во сне.

Внучка считала. Я услышал это раньше, чем увидел: губы у неё шевелились, и в такт им поднималась и опускалась грудь старухи. «Раз, два, три, — шептала она, — раз, два, три». Она считала вдохи, как считают деньги, которые вот-вот кончатся.

Я стоял в дверях и ждал, пока она досчитает до сотни, потом до двухсот. В доме было тихо, только часы в углу шли с перебоем, будто у них износилось что-то внутри, и за стеной соседка гремела ведром. Пахло остывшим чаем и льняной пылью — той, что остаётся, когда долго шьют и не вытирают стол.

На столе лежала работа. Детская рубаха, почти готовая, с одним незашитым боком; рядом — катушка белых ниток, напёрсток, ножницы, воткнутые в подушечку, и огарок свечи в блюдце. Напёрсток был старый, потёртый до блеска на одном боку, и я понял, что старуха шила этой рукой лет шестьдесят, а может, и больше.

Она открыла глаза и посмотрела на меня без удивления.

— Ты за мной, — сказала она. Не спросила, а сказала, как говорят о том, что уже решено. — Погоди. Дай рубаху дошить.

Я сказал, что она может не успеть.

— Успею, — сказала она. — Я её третий день шью. Если брошу, малый без рубахи останется, а ему в школу в чём-то ходить надо.

Я не стал объяснять, что рубаху дошьют и без неё, что мальчишка доходит и в старой, что мир не рухнет из-за одного незашитого бока. Люди в её положении редко держатся за дело; чаще они держатся за слова, которые не успели сказать. Она держалась за рубаху, и это было честнее слов.

— Ты кто? — спросила она, приподнимаясь на локте. — Не ангел. Ангелы светлые, а ты как будто из стирки вышел.

— Я тот, кто режет, — сказал я.

— А зовут тебя как? — спросила она, и я ответил:

— Азраил.

Она повторила имя шёпотом, будто пробуя нитку на прочность, и кивнула:

— Красивое. Не наше, но красивое.

Она подумала, потом кивнула:

— Значит, не больно.

— Не знаю, — сказал я. — Никто не жаловался.

Она засмеялась — тихо, коротко, будто кашлянула, — и от этого смеха внучка проснулась, подняла голову и увидела меня. Она не испугалась. Она посмотрела на меня так, как смотрят на врача, который пришёл слишком поздно, и сказала:

— Она вас видит. Она всех видит, кто приходит.

— Не всех, — сказала старуха. — Только тех, кто по делу.

Внучка встала, поправила на ней одеяло, взяла со стола напёрсток и надела ей на палец — просто так, без смысла, как надевают кольцо. Старуха посмотрела на свою руку и сказала:

— Вот. Теперь можно.

Я ждал. Я всегда жду, когда человек сам скажет, что готов, — не потому, что мне это нужно, а потому, что это единственное, что я могу ему дать. В ожидании я смотрел на комнату и запоминал: зелёный абажур с трещиной, фотография на стене, где молодой мужчина в картузе держит на коленях девочку, герань на подоконнике, обмёрзшая изнутри, и рубаха на столе, у которой оставался один бок.

Старуха тем временем говорила с внучкой — не о смерти, о пустяках: про то, что в сенях надо поправить половик, чтобы не скользил; про то, что часы надо отнести часовщику, потому что они отстают на семь минут; про то, что в верхнем ящике лежат пуговицы, и часть можно отдать соседке, у которой сын растёт. Внучка кивала и запоминала, и я видел, как она запо-

минает, — так же, как я запоминал комнату, только у неё это выходило хуже, потому что она ещё надеялась.

Потом старуха повернулась ко мне:

— Ну что, долго мне ещё?

— Недолго, — сказал я.

— Это хорошо, — сказала она. — Я устала. Только ты не тяни, ладно? Я не люблю, когда тянут.

Она велела внучке принести воды и оставить их одних, и девушка вышла, оглянувшись в дверях, — не на бабушку, а на меня, будто просила присмотреть. Дверь за ней закрылась неплотно, и в щели остался свет из коридора, узкий, как лезвие.

— Сядь, — сказала старуха. — Чего стоишь, как на похоронах.

Я сел на табурет у кровати. Она взяла рубаху, положила на колени и попробовала продеть нитку в иголку; руки у неё дрожали, и с третьего раза она бросила это дело.

— Раньше я за ночь по две рубахи шила, — сказала она. — Мужу, сыну, внуку. Муж на войне остался, под Перемышлем; сын в девятнадцатом от тифа; остались двое: Люба да малый, ему одиннадцать. Любу я уже подняла, а его с трёх лет тяну. Вот, думала, дошью рубаху, и можно.

Она говорила спокойно, как говорят о погоде, которая уже установилась и переменится не скоро. Я слушал. В такие минуты я не должен ничего говорить, и это единственное, в чём я за четыре тысячи лет стал по-настоящему хорош.

— Ты знаешь, чего я боюсь? — спросила она вдруг. — Не смерти. Смерти я не боюсь, я её три раза видела: когда мать хоронила, когда мужа ждала и когда сына. Я боюсь, что он меня забудет. Внук. Он маленький был, когда мать умерла, он её уже не помнит, только по фотографии. Вот и меня так же.

— Не забудет, — сказал я.

— Ты почём знаешь?

Я не стал говорить, что видел тысячи людей, которые клялись помнить и забывали через год; что память — самая ненадёжная из всех тканей, потому что её никто не штопает. Я сказал другое, и это было правдой:

— Он сейчас считает твои вдохи. Так не забывают.

Она посмотрела на дверь, за которой скрылась внучка, и лицо у неё сделалось таким, будто она впервые за вечер увидела что-то, кроме собственной усталости.

— Это Люба, — сказала она. — Она хорошая. Только замуж не идёт, потому что я. Ты ей скажи, когда меня не будет, чтобы шла. Слышишь? Скажи ей: бабка велела идти.

— Скажу, — сказал я.

Я не должен обещать таких вещей: я не бываю на похоронах и не говорю с роднёй после. Но я сказал, и она успокоилась, будто я был властью, которая может это устроить. Иногда людям нужно не утешение, а свидетель, который запомнит поручение.

Она взяла иголку и всё-таки продела нитку — с пятого раза, облизнув кончик, как делают все швеи на свете, — и принялась зашивать бок рубахи. Работала она медленно, но точно: стежок к стежку, ровно, без спешки, и по этим стежкам было видно, что она шьёт шестьдесят лет и руки помнят больше, чем голова. На третьем стежке она уколола палец и вытерла кровь о край рубахи — маленькое бурое пятнышко осталось на белом, и она посмотрела на него с досадой, как смотрят на ошибку в чистовике.

— Вот, — сказала она, закончив. — Теперь можно.

Она отложила рубаху, сложила её аккуратно, вчетверо, и положила на стол рядом с напёрстком. Потом легла на подушку, вытянула руки поверх одеяла и закрыла глаза. Я ждал.

Нить проступила не сразу. Обычно она появляется, когда человек перестаёт держаться за комнату, — а эта старуха держалась долго, за всё сразу: за рубаху, за пуговицы в ящике,

за половик в сенях, за внучку, которой велела идти замуж. Я видел, как она отпускает это по одному, как разжимают пальцы, которыми держали тяжёлое; сначала ушла рубаха, потом пуговицы, потом половик, и только потом, с последним вздохом, отпустила внучку.

Нить повисла в воздухе — тонкая, светлая, с той самой упругостью, которой я не чувствовал всю неделю. И в ней был свет.

Я смотрел на него дольше, чем обычно. Свет был короткий, ровный, ни на что не похожий, и в нём не было ни печали, ни торжества — только присутствие, которое нельзя назвать и нельзя перепутать. Я видел его миллионы раз. Каждый раз он длился меньше, чем нужно, чтобы его запомнить, и каждый раз я знал, что после работы станет на одну черту меньше.

Я поднял лезвие и выбрал угол.

Лезвие опустилось — и прошло сквозь нить, как рука проходит сквозь дым.

Я не сразу понял, что случилось. Сначала я подумал, что промахнулся: за четыре тысячи лет со мной бывало всякое, и один раз, в Константинополе, я резал в темноте и взял на волосок выше, чем нужно, — шов тогда вышел кособоким, и я возвращался к нему через неделю, чтобы загладить. Я поправил хват, перенёс вес на другую ногу, нашёл взглядом свет и провёл лезвием ещё раз, медленнее и точнее.

Нить не поддалась.

Она не оттолкнула лезвие и не отскочила; она просто осталась такой, какой была, — целой, натянутой, светлой, — а лезвие прошло мимо, будто я резал воздух рядом с ней. Я отвёл руку, посмотрел на клинок, потом на нить, потом снова на клинок. С лезвием было всё в порядке: оно было тусклым, тяжёлым, оно резало свет и огонь, и в нём не появилось ни трещины, ни зазубрины.

Я попробовал третий раз, уже без расчёта, зло, как пробуют сломавшуюся вещь, — и снова ничего.

Тогда я сделал то, чего не делаю никогда: отпустил нить и посмотрел на неё не как на работу, а как на улику. И увидел шов.

Он был там. Тонкий, ровный, чуть светлее самой нити, — такой шов оставляет только один хват на свете, и этот хват был мой. Я узнал бы его где угодно: я ставлю лезвие не поперёк, а под небольшим углом, потому что так меньше рвётся свет; я веду не от себя, а вбок, потому что так ровнее ложится край; и я всегда задерживаю дыхание на середине движения — привычка, от которой мне не избавиться, как не избавиться от собственного почерка.

Шов был мой. Работа была сделана. Но нить осталась целой, и старуха дышала.

Я стоял над ней и слышал, как в углу идут часы с перебоем, как за стеной соседка переставляет ведро, как Люба в коридоре наливает воду из ковша в кружку — и все эти звуки были настолько обыкновенными, что я на секунду усомнился в собственном ремесле. Может быть, я ошибся в другом: может быть, это не та нить, не тот свет, не тот час. Может быть, я пришёл раньше, и настоящая работа ещё впереди.

Я проверил. Проверять себя я умею быстрее, чем человек проверяет, заперта ли дверь. Свет был тот самый: короткий, ровный, ни на что не похожий. Нить была та самая: она держалась за старуху, а не за комнату. Час был тот самый: последний.

Тогда я начал вспоминать.

Это оказалось хуже, чем я думал. Я помнил вчерашний вечер, помнил госпиталь, помнил женщину в морге, которая спросила, всегда ли я прихожу до того, как она дошёт; помнил, как шёл по Второй Слободской, как считал шаги до крыльца — двадцать восемь, — как увидел в сенях валенки и связку грибов. Я помнил даже, как пахло в комнате, когда вошёл: воск, карболка, остывший чай.

А потом был провал.

Не сон и не беспамятство пьяницы; провал был маленький, аккуратный, как вырезанное из ткани место. Я помнил, что стоял у кровати и ждал, пока Люба досчитает до двухсот. Я

помнил, как старуха открыла глаза. А между этими двумя мгновениями не было ничего — ни минуты, ни секунды, — и в этом «ничего» кто-то взял мою руку, нашёл мой угол, задержал дыхание на середине движения и поставил шов.

Мой шов. Моей рукой. Без меня.

Я опустился на табурет, потому что ноги, которых у меня, строго говоря, нет, вдруг стали чужими. В голове было тихо и очень ясно, как бывает в первые секунды после падения, когда ещё не больно, но уже понятно, что случилось что-то непоправимое.

Старуха открыла глаза.

— Ты чего? — спросила она. — Я же говорю: не тяни.

Я не ответил. Я смотрел на неё и думал о том, что если шов уже стоит, то она должна была умереть — и не умерла; что если она не умерла, то шов не её; что если шов не её, то чей; и что на все эти вопросы у меня нет ни одного ответа, кроме того, который мне меньше всего нравился.

Кто-то резал здесь до меня. И резал моей рукой.

Я заставил себя вспоминать дальше — не эту ночь, а весь ноябрь, день за днём, как перебирают чётки. Госпиталь, сестра милосердия, двадцать шесть лет, тиф; я пришёл, поднял лезвие, и нить не далась. Я тогда решил, что устал, и ушёл, а утром вернулся и увидел готовый шов — ровный, мой, — и записал в тетрадь: «Ноябрь. Госпиталь. Нить не далась». Я решил, что она поддалась потом, сама, без меня.

Дальше: старик на лесопилке, рука, зажатая между брёвен; шов был на месте, когда я пришёл, и я не стал его трогать, потому что трогать готовую работу — дурная примета. Потом мальчик с дудкой — тот, чью строку я перечитывал чаще других. Там я вообще ничего не помню: пришёл, а нить уже разрезана, и на ней мой узел, и я стоял над ним и думал, что забыл, как это делается.

Три раза за месяц. Три раза я списал всё на усталость и на дыры в памяти, которые сам же и оплатил.

Теперь я смотрел на шов старухи и видел то, чего не видел раньше: на её нити не было двух концов с двумя узлами. На её нити был стежок — короткий, ровный, соединяющий нить с чем-то, чего я не мог разглядеть, потому что оно было тоньше света. Разрез разделяет; этот шов соединял.

Я не знал, что страшнее: то, что кто-то умеет резать моей рукой, или то, что он умеет ею шить.

В коридоре стукнула дверь. Люба вернулась с кружкой, поставила её на стол, поправила одеяло и только потом посмотрела на меня — и я увидел, как у неё меняется лицо. Она не знала, кто я, и не знала, что я сделал, но она видела то, чего не видят люди: она видела, что я испугался.

— Что с вами? — спросила она.

— Ничего, — сказал я. — Я ошибся адресом.

Я вышел в сени, надел на себя чужую тишину, как надевают пальто, и остановился на крыльце. Дождь шёл ровно, без ветра, и в его сетке фонарь у соседнего дома расплывался жёлтым пятном. Где-то далеко, за рекой, лаяла собака; в доме за спиной часы пробили одиннадцать и снова сбились.

Я посмотрел на свои руки. Они были пусты.

Лезвие в них было, а шва не было — и я понял, что впервые за четыре тысячи лет не знаю, что делать дальше. Я стоял на крыльце дома, где умирала старуха с напёрстком, и слушал, как она дышит, — ровно, спокойно, не собираясь уходить, — и в этом дыхании было больше ужаса, чем во всём, что я видел за четыре тысячи лет.

За спиной, в доме, горела лампа под зелёным абажуром, и в окне была видна тень внучки: она снова села на стул у кровати и снова начала считать — раз, два, три, — и с каждым её счётом старуха дышала, будто кто-то возвращал ей дыхание из долга.

Кто-то научился резать моей рукой.

И, судя по ровному шву, он делал это не впервые.

Глава 1. Часовщик

«Всякая вещь, которая идёт назад, идёт домой». — Из «Наставления резака»

Я простоял на крыльце дольше, чем требовалось, и за это время дождь успел намочить мне плечи насквозь — вернее, то, что у меня вместо плеч: я никогда не мог объяснить, из чего сделан, и не уверен, что это кому-нибудь нужно знать.

Дом за спиной жил обычной жизнью умирающего дома. В сенях горел свет, Люба ходила от стола к кровати и обратно, часы в углу сбивались на каждом втором ударе, и в окне, за занавеской, двигалась тень. Я слышал, как старуха что-то сказала — не разобрать слов, — и как внучка ответила ей тем особым голосом, каким отвечают больным: громко и мягко одновременно, будто говорят с ребёнком.

Я не имел права туда возвращаться. Резак, который не может резать, обязан хотя бы уйти.

Я ушёл.

Дорога до шва заняла двадцать минут — я считал шаги, потому что считать шаги было единственным, что ещё работало. Вереск в дожде выглядел так, будто его нарисовали углём и забыли закрепить: заборы расплывались, вывески текли, редкие прохожие шли, пригнув головы, и не поднимали глаз. На углу Второй Слободской стояла лужа, в которой отражалось небо, и в этом отражении не было ни одного просвета.

Дом на шве встретил меня тишиной, которую я знал наизусть. Одна комната, стол, лампа, которую я не зажигал, потому что мне не нужен свет, чтобы писать, и тетрадь, раскрытая на середине. На стене висели часы, которых я не заводил: они шли сами, ровно, без перебоя, и я никогда не спрашивал, откуда у них ход, — в моей работе хватало чудес, чтобы не интересоваться ещё одним.

Я сел и записал:

«Ноябрь. Вторая Слободская. Старуха с напёрстком. Шов мой. Нить цела».

Тетрадь была старая, в кожаном переплёте, с обрезанным с одной стороны блоком — я сам его обрезал, когда страниц стало слишком много, — и в ней было четыре тысячи лет, записанных короткими строками. Я завёл её не из сентиментальности: память у меня устроена так, что чужие имена держатся крепче собственных, и если имя не записать, оно рано или поздно уйдёт вместе с очередной чертой. Тетрадь была не памятью, а страховкой.

И вот в этой страховке появилась строка, которая не поддавалась учёту.

Потом посмотрел на эту строку и понял, что она врёт. Строка была короткой, а случилось в ней больше, чем в иных тысячелетиях.

Я стал разбирать по порядку, как разбирают сломанный механизм: раскладывают части на чистой тряпице и смотрят, какая из них лишняя.

Первое: шов был мой. Не похожий, не такой же — мой. Я узнаю свой хват так, как человек узнаёт свой почерк, даже если буквы поплыли от усталости. Я ставлю лезвие под углом, потому что так меньше рвётся свет; я веду вбок, потому что так ровнее ложится край; я задерживаю дыхание на середине движения. Всё это было в том шве, и всё это было сделано без меня.

Второе: нить осталась целой. Разрез разделяет — на то он и разрез. Если бы кто-то просто подражал мне, он оставил бы два конца и два узла, и старуха умерла бы, а я пришёл бы на готовое. Но концов не было. Был стежок — короткий, ровный, соединяющий нить с чем-то, чего я не мог разглядеть.

Третье, и самое скверное: я не помнил. Не забыл, как забываю лица и имена, за которые заплатил, а именно не помнил — с тем аккуратным провалом, с каким из ткани вырезают

кусок, оставляя ровные края. Между двумя мгновениями моей жизни не было ничего, и в этом «ничего» кто-то взял мою руку.

Я сидел над тетрадью и слушал, как идут часы. За четыре тысячи лет я привык, что в мире есть вещи, которых я не понимаю: свет в нити, цена, молчание Того, Кто меня послал. Но я всегда понимал собственную работу. Теперь у меня отняли и это.

К утру я решил, что не буду ничего предполагать. Предположения — это то, чем люди заменяют работу, когда боятся её делать. Я решил проверить: обойти все смерти за последний месяц и посмотреть, у кого ещё на нити стоит мой стежок.

Я взял тетрадь, вышел и запер дверь, хотя запирать её было некому и незачем.

Дождь к рассвету превратился в мокрый снег, и Вереск стал белым наполовину — так, как бывает в ноябре, когда зима ещё не решила, вступать ли ей в свои права. На Второй Слободской я остановился: у калитки стояла Люба, в пальто поверх платья, с узелком в руках.

Она узнала меня сразу и не испугалась — вот что было странно. Люди, которые видели меня один раз, обычно не помнят лица; Люба помнила.

— Вы, — сказала она. — Я думала, вы мне показались.

— Не показался, — сказал я.

Она кивнула так, будто этого и ждала, и переложила узелок из руки в руку. В узелке что-то тяжело звякнуло.

— Бабушка ночью проснулась и велела отнести часы мастеру. Сказала: пока не отнесу, не помрёт. — Люба усмехнулась, и усмешка вышла кривой. — Она у меня такая. Всё ей надо доделать.

— Она жива?

— Жива. — Люба посмотрела на меня внимательно. — Вы ведь не доктор.

— Нет.

— И не из полиции.

— Нет.

— А кто?

Я мог бы сказать «тот, кто режет», как сказал старухе, но с внучкой это не сработало бы: она была из тех, кто требует точности. Поэтому я сказал:

— Тот, кто приходит, когда больше никто не приходит.

Она подумала, и лицо у неё сделалось спокойным, как у человека, который наконец нашёл название болезни.

— Значит, вы за ней и приходили. А она не пошла.

— Не пошла.

— Почему?

Я не ответил, потому что не знал. Мы постояли ещё немного, и снег ложился мне на плечи и не таял; Люба смотрела на него и, кажется, видела это, но не сказала ничего.

— Ей надо отнести часы, — сказала она наконец. — Она говорит, они отстают на семь минут. С тех пор как сын умер, отстают. Она их заводит каждое утро, а они всё равно.

— Кто мастер?

— Штерн. На Гончарной, за бывшей богадельней. — Она протянула мне узелок. — Возьмите. Вы всё равно туда идёте.

Я не собирался туда идти; я собирался на кладбище, где за последний месяц было больше всего смертей. Но я взял узелок, потому что в нём лежали часы, которые отстают на семь минут с тех пор, как умер сын, и в моей работе такие совпадения не бывают совпадениями.

— Скажите бабушке, — проговорила Люба мне в спину, — что я пойду замуж. Когда всё это кончится.

Я обернулся. Она стояла в снегу, маленькая, в чужом пальто, и держалась за калитку обеими руками.

— Скажу, — сказал я.

И пошёл на Гончарную.

Гончарная улица была короткой и кривой, как все улицы, которые прокладывали не по плану, а по нужде: она начиналась у богадельни, сворачивала за угол и упиралась в пустырь, за которым уже виднелась река. Мастерская Штерна помещалась в подвале углового дома, и о том, что там чинят часы, говорила только жестяная вывеска над дверью — без букв, с изображением циферблата, у которого вместо цифр были нарисованы точки.

Я спустился на три ступени и толкнул дверь. Она не была заперта.

Внутри пахло машинным маслом, медью и старым деревом, и было теплее, чем на улице, — не от печи, а от того, что в комнате горело множество маленьких огней: в каждом углу тикало, щёлкало, звенело и перезванивало. Часы висели на стенах в три ряда, стояли на полках, лежали на столе разобранными, и все они шли — одни быстро, другие медленно, третьи с паузами, будто переводили дыхание. Это был не магазин, а лазарет.

За столом у окна сидел старик в кожаном фартуке, с лупой на шнурке, и что-то делал с часовой пружиной. Он не поднял головы, когда я вошёл, и заговорил первым:

— Ставьте на стол. Если это те, что отстают на семь минут, я их знаю.

Я поставил узелок. Старик развернул тряпицу, и в ней оказались часы — тяжёлые, латунные, с треснувшим стеклом и выщербленным краем. Он взял их, повернул к свету, приложил к уху и сказал:

— Точно. Каждое утро заводят, а они отстают. — Он поднял на меня глаза, и я увидел, что они у него ясные, как у человека, который давно перестал удивляться. — А вы, значит, тот, за кем она не пошла.

— Вы меня знаете?

— Я знаю часы, — сказал он. — По ним видно. — И, помолчав: — Готлиб Штерн. Садитесь, если у вас есть время. У меня его много.

Я сел на табурет у стола. Штерн тем временем открыл заднюю крышку часов, посмотрел внутрь, покачал головой и отложил их в сторону — так откладывают то, что требует отдельной работы.

— Семь минут, — сказал он. — Ровно семь. Не шесть и не восемь. Это не механизм, это привычка. — Он усмехнулся. — У некоторых людей часы отстают потому, что они не хотят приходить вовремя. У этих — потому что они помнят.

— Что помнят?

— Своего хозяина. — Штерн снял лупу и протёр её о фартук. — Они стояли у него в комнате, когда он умирал. В девятнадцатом. Он был молодой, умер от тифа в госпитале, а часы принесли сюда, потому что жена не могла их выбросить. С тех пор они отстают. Я их чинил четыре раза. Каждый раз они идут ровно месяц, а потом снова начинают отставать — на семь минут.

Он сказал это без всякой мистики, как говорят о погоде или о ценах, и от этого мне стало не по себе. Я знал механизмы, которые помнят своих хозяев; я не знал мастеров, которые об этом говорят так спокойно.

— Вы не боитесь, — сказал я.

— Чего?

— Того, что они помнят.

Штерн посмотрел на меня с любопытством, будто я был часами, которые интересно разобрать.

— Молодой человек, — сказал он, хотя я выглядел не моложе его, — я шестьдесят лет чиню часы умерших. Ко мне несут то, что осталось от человека, — вот эти колёсики, эта пружина, это стекло в трещинах. И знаете, что я заметил? Вещи не врут. Люди врут, документы

врут, даже память врёт, а вещи — нет. Если часы отстают на семь минут, значит, в них что-то есть. Вопрос только в том, что.

Он встал, подошёл к дальней стене, где висели часы больше остальных, и снял с них чехол.

Это были высокие напольные часы, тёмные, с маятником и циферблатом, на котором вместо цифр стояли римские, но шли они не в ту сторону: стрелки двигались справа налево, медленно и упорно, и маятник качался с той же упорностью, будто отмерял не время, а что-то другое.

— Эти я не чиню, — сказал Штерн. — Эти я держу.

— Почему?

— Потому что через них видно. — Он посмотрел на меня и добавил тише: — Вы ведь видите швы. Я тоже вижу, только иначе. Я вижу, где у вещи разошлось.

Я подошёл ближе. За стеклом, между стрелками и маятником, в пыльном воздухе висела полоса серого света — узкая, в ладонь шириной, и в ней ничего не было, кроме пылинок, которые двигались не так, как положено пылинкам: они поднимались вверх, хотя воздух в комнате стоял неподвижно.

— Дверь, — сказал Штерн.

— Шов, — сказал я.

— Называйте как хотите. — Он снова сел. — Я её не открываю. Я только смотрю, кто через неё проходит. Иногда проходят.

Я хотел спросить, кто именно, но в этот момент в мастерской что-то изменилось. Не звук, не свет — просто воздух стал другим, как бывает, когда в комнату входит человек, которого ждали и на которого не надеялись.

За столом у окна, на табурете, который минуту назад был пуст, сидел мужчина в шинели.

Он держал в руках чашку и пил чай.

Он был невысокий, широкий в плечах, с тем лицом, которое запоминается не чертами, а выражением: так смотрят люди, которые долго ждали и перестали надеяться, что дождутся. Шинель на нём была старая, латаная в двух местах, но чистая; сапоги вытерты до белизны на носках; на левой руке не хватало двух пальцев.

Он держал чашку обеими руками, будто грелся, и смотрел на меня поверх края, и в этом взгляде не было ни страха, ни подобострастия — только усталость и что-то ещё, похожее на вежливость человека, который пришёл в чужой дом и не хочет мешать.

— Простите, — сказал он. — Я не знал, что вы придёте. То есть знал, но не думал, что так скоро.

— Вы меня ждали?

— Все ждут, — сказал он просто. — Я думал, вы придёте в девятнадцатом. Потом думал, в двадцатом. Потом перестал думать.

Штерн, не поднимая головы, сказал:

— Ян, налей гостю. Он не пьёт, но пусть посидит.

Мужчина — Ян — послушно потянулся к чайнику, и я увидел, как он это делает: осторожно, будто боится разбить не чашку, а что-то в воздухе. Я сказал, что не нужно, и он опустил руку с облегчением.

— Ян Ковач, — представился он. — Поручик. Бывший.

— Бывший?

— Бывший поручик, бывший муж, бывший покойник. — Он усмехнулся, и усмешка вышла не горькой, а скорее извиняющейся. — Так у нас в полку говорили: бывших не бывает, бывают убитые. Я, выходит, исключение.

Он поставил чашку и вытер руки о колени.

— Вы, наверное, хотите знать, как это случилось.

— Хочу.

— Тогда я сначала скажу, чего я не знаю. — Он посмотрел на меня прямо. — Я не знаю, как я вернулся. Я не помню ни света, ни тоннеля, ни голосов. Я помню тиф: жар, барак, солома, чужие ноги в проходе. Помню, как мне стало всё равно. А потом — утро, я лежу на телеге, и надо мной стоит женщина с ведром и говорит: «Живой». И всё.

— Где это было?

— На барже. — Он сказал это так, будто речь шла о чём-то обыденном. — В девятнадцатом по реке вывозили тифозных, чтобы не жгли в городе. Баржу поставили на мель у Красного Яра, и там мы лежали двое суток. Кто-то умер, кого-то сняли. Меня посчитали мёртвым и оставили до утра, а утром я сел.

— Вы помните, кто вас считал?

Он задумался. В мастерской было тихо; часы на стенах шли вразнобой, и от этого тишина казалась гуще.

— Помню холод, — сказал он наконец. — Такой, будто меня изнутри вымыли. И ещё: кто-то держал меня за руку. Не за руку даже, а за запястье, вот здесь. — Он показал на левое запястье, где под кожей проступала синеватая жилка. — Держал и не отпускал. А потом отпустил — и стало не холодно.

— Он что-нибудь говорил?

— Нет. — Ян покачал головой. — Или говорил, но я не слышал. Знаете, как бывает во сне: вроде кто-то рядом, а слов нет.

Я смотрел на его запястье и думал о том, что в моей работе нет случайных движений. Я беру за запястье, когда не хочу, чтобы человек дёрнулся; я держу до тех пор, пока не найду шов; я отпускаю, когда шов заглажен. Всё это я делаю сам, всегда, и никогда — во сне.

— Вы сказали, что вас считали мёртвым, — проговорил я. — Кто считал?

— Фельдшер. Молодая, в очках. Она потом приходила ко мне, когда я уже ходил, и всё не могла понять. Говорила: «У вас пульса не было, я проверяла». — Он пожал плечами. — Я ей сказал: значит, плохо проверяли. А она обиделась.

Штерн поднялся, взял часы старухи и подошёл к окну, где света было больше. Он делал вид, что работает, но я видел, что он слушает.

— Ян, — сказал он, не оборачиваясь, — расскажи про жену.

Ян опустил глаза.

— Про жену, — повторил он. — Про жену я могу коротко. Аня думала, что я погиб. Ей пришло извещение, потом ещё одно, потом соседка сказала, что видела меня в списке. Она год носила траур, а потом перестала. — Он помолчал. — Я вернулся в двадцатом. Она открыла дверь и не узнала. Потом узнала — и заплакала. А потом целую неделю не могла со мной сесть за один стол.

— Почему?

— Потому что я не ем, — сказал он. — Совсем. И не сплю. И не потею. И когда порезался на пристани, у меня не пошла кровь — только сукровица, и та через час остановилась. — Он поднял на меня глаза. — Я не жалуюсь. Я живой, я работаю, я вижу дочку. Просто Аня смотрит на меня и ждёт, когда я снова умру, чтобы можно было наконец поплакать как следует.

— Покажите запястье, — сказал я.

Он без разговоров закатал рукав. Кожа была бледная, с той особенной бледностью, которая бывает не от болезни, а от долгого пребывания в помещении без солнца; на запястье, там, где он показывал, ничего не было — ни следа, ни рубца, ни синяка.

— Здесь, — сказал он. — Я чувствую до сих пор. Как будто кто-то держит.

Я взял его за руку — так, как беру всегда, когда ищу шов, — и ничего не почувствовал. Ни тепла, ни холода, ни сопротивления. Рука была как рука: живая, тёплая, с пульсом, который бился ровно и чуть быстрее, чем следовало.

Тогда я посмотрел.

Нить у него была. Я увидел её сразу, как только перестал смотреть глазами, — тонкую, светлую, натянутую от сердца к тому месту, где у людей кончается грудь и начинается воздух. Она была цела. Не «почти цела», не «держится на волоске» — цела, как бывает у здорового тридцатилетнего мужчины, которому жить ещё сорок лет.

А посередине нити стоял стежок.

Я подошёл ближе, насколько позволяла вежливость, и рассмотрел его. Стежок был короткий, в два движения, и сделан моей рукой — тем самым углом, тем самым хватом, с той самой задержкой дыхания на середине. Но нить, которой он был прошит, была не моя. Моя нить — свет; эта была тоньше света и не светилась вовсе, и в ней не было ни тепла, ни холода, только присутствие, которое я не мог назвать.

Я вынул лезвие.

Нить отозвалась на него раньше, чем я успел поднести клинок: она качнулась, как качается паутина, когда рядом проходит что-то крупное, и стежок на ней потемнел на мгновение — будто узнал. Я такого не видел никогда. Нить не узнаёт лезвие; нить вообще ничего не узнаёт, она просто держится, пока её не разделят. Эта узнала.

— Вы что делаете? — спросил Ян, но не испуганно, а скорее с любопытством.

— Смотрю.

Я поднёс лезвие к нити и провёл им поперёк, в том месте, где она была цела, — там, где никакого стежка не было, где всё должно было разойтись с одного движения. Лезвие прошло сквозь нить, как палец проходит сквозь струю воды: нить дрогнула, качнулась и осталась на месте.

Я попробовал ещё раз, ниже. Потом выше. Потом у самого сердца, где нить всегда тоньше и где разрез выходит легче всего. Ничего.

Я отступил на шаг. В мастерской было тихо; часы на стенах шли вразнобой, и этот стук вдруг стал невыносимым, как стук дождя по крыше, когда не можешь уснуть.

— Не выходит, — сказал Ян. Это был не вопрос.

— Не выходит.

Он посмотрел на свою грудь, потом на меня, и лицо у него сделалось спокойным, как у человека, который получил подтверждение худшего и наконец перестал бояться.

— Значит, я всё-таки мёртвый, — сказал он. — Просто об этом забыли сказать.

— Вы не мёртвый, — сказал я. — Мёртвых я вижу.

— А кто я?

Я не ответил, потому что ответа у меня не было. Я стоял в мастерской, полной чужих часов, и смотрел на человека, у которого была целая нить, чужой стежок и моя подпись, и впервые за четыре тысячи лет не знал, что сказать.

Штерн закрыл заднюю крышку часов старухи и положил их на стол.

— Вы пришли поздно, — сказал он.

Я обернулся.

— Что вы имеете в виду?

— То и имею. — Старик снял лупу и посмотрел на меня без всякого почтения. — За ним уже приходили. Два года назад. Тогда он ещё лежал на барже и не сидел за моим столом. Пришли, постояли, посмотрели — и ушли. А он остался.

— Кто приходил?

— Человек, — сказал Штерн. — Вроде вас. Только лицо у него было живое.

Я ждал, что он объяснит, но он молчал, и молчание у него было такое же упорное, как ход часов на стене.

— Живое, — повторил я.

— Живое, — сказал Штерн. — У вас лицо как у человека, который давно не спал и уже не помнит, зачем. А у него было лицо как у человека, который только что плакал и ещё не вытер слёз.

Он сказал это спокойно, будто описывал погоду, и от этого мне стало холодно — холоднее, чем на улице, холоднее, чем бывает в ноябре.

— Он что-нибудь говорил?

— Сказал: «Ещё рано». — Штерн помолчал. — И ушёл. А Ян через сутки сел на барже и попросил воды.

Я стоял и слушал, как идут часы. Их было слишком много, и все они шли вразнобой, и в этом вразнобое мне слышалось то, чего я не хотел слышать: будто время в мастерской состоит из чужих секунд, и каждая из них когда-то кому-то принадлежала.

— Почему вы не сказали мне об этом сразу? — спросил я.

— А вы бы поверили? — Штерн усмехнулся. — Вы бы решили, что старик выжил из ума. Все так решают. Ко мне и без того ходят только те, кому некуда деться.

Я посмотрел на Яна. Он сидел, опустив голову, и пальцы его здоровой руки медленно, круговыми движениями, гладили запястье другой — то самое место, где кто-то держал его два года назад.

— Зачем вы пришли сюда? — спросил я его.

— Часы чинить, — сказал он и вдруг улыбнулся — впервые за весь разговор, и улыбка вышла неожиданно мальчишеской. — Правда. У меня дома есть часы, они стоят с девятнадцатого. Я всё собирался.

— И всё?

— И всё. — Он помолчал. — А вы думали, я вас искал?

— Думал.

— Нет. — Он покачал головой. — Я вас не искал. Я вообще не знал, что вас можно искать. Я думал, вы приходите, когда сами решите, и не спрашиваете.

Он был прав, и это было хуже всего.

— У вас есть время? — спросил Ян, когда я уже взялся за дверь. — Я не про сейчас. Я про вообще.

— Есть, — сказал я.

— Тогда пойдёмте ко мне. — Он встал и одёрнул шинель. — Я вам покажу часы. Они стоят с девятнадцатого, и я не могу их завести. Может, вы посмотрите.

Штерн проводил нас до двери и сказал мне тихо, так, чтобы Ян не слышал:

— Приходите ещё. Я вам кое-что покажу, когда он уйдёт. — И, помолчав: — Только не тяните.

Мы вышли на Гончарную. Снег шёл сильнее, и город стал тише, будто его накрыли одеялом; редкие прохожие шли по середине улицы, где ещё не натоптали, и следы за ними заносило почти сразу. Ян шёл быстро, не оглядываясь, и я видел, что он привык ходить один: он не проверял, иду ли я, не замедлял шага и не оборачивался на шум.

Дом его стоял на Столярной, в двух кварталах от порта, — двухэтажный, с деревянной галереей по фасаду, с дверью, обитой войлоком. В сенях пахло щами и мокрой шерстью; на лестнице кто-то пел тонким голосом, и звук уходил вверх, под крышу.

— Только вы не удивляйтесь, — сказал Ян, поднимаясь. — У нас тесно.

Дверь открыла женщина лет тридцати, в тёмном платье и в платке, повязанном по-домашнему, — та самая Аня, о которой он говорил. Она посмотрела на меня, потом на мужа, и я увидел, как у неё меняется лицо: сначала испуг, потом досада, потом то выражение, которое бывает у людей, когда они решают не устраивать сцену при посторонних.

— Это кто? — спросила она.

— Это тот, — сказал Ян.

Она поняла сразу — раньше, чем он объяснил, — и отступила в сторону, пропуская нас, и руки у неё остались на уровне груди, будто она держала что-то невидимое.

В комнате было тепло и бедно. Стол, три стула, сундук, железная кровать за ситцевой занавеской, на подоконнике — герань и жестяная банка с крупой. В углу стояли часы: высокие, в футляре красного дерева, с маятником, замершим посередине. Стрелки показывали четверть двенадцатого.

— Восемнадцатое октября девятнадцатого года, — сказал Ян. — В четверть двенадцатого. Я как раз на баржу садился.

— Они остановились, когда вы умерли?

— Они остановились, когда я перестал быть, — сказал он. — Я не знаю, как это называется. Жена говорит, они встали в тот день, когда пришло извещение. Я говорю: какая разница.

Аня стояла у стола и смотрела на нас обоих.

— Ян, — сказала она тихо. — Не надо.

— Надо, — сказал он. — Он должен знать.

Из-за занавески высунулась девочка лет шести, в длинной рубашке, с растрёпанными волосами. Она посмотрела на меня и спряталась обратно, но через секунду выглянула снова.

— Маня, — сказал Ян. — Иди сюда, не бойся.

Девочка вышла, держась за занавеску, и остановилась в двух шагах от меня. Она была похожа на отца — тот же широкий лоб, тот же разворот плеч, — и смотрела на меня без страха, с тем серьёзным любопытством, которое у детей бывает только до определённого возраста.

— Ты кто? — спросила она.

— Я пришёл посмотреть часы.

— Часы не работают, — сказала она с явным удовольствием. — Они сломались, когда папа умер.

— Маня! — сказала Аня.

— А что? — Девочка обернулась к матери. — Бабушка так говорит.

В комнате стало очень тихо. Ян смотрел в сторону, и на лице у него было то выражение, которое я видел у многих: человек слушает, как о его смерти говорят в третьем лице, и не знает, куда деть руки.

Я подошёл к часам.

Они были старые, но хорошие: такие делали в Германии лет тридцать назад, с латунным маятником и боем. Стекло было целое, стрелки стояли, и в футляре, если приложить ухо, не было ни звука — ни хода, ни шороха, ни того слабого звона, который остаётся в остановившихся часах, когда пружина ещё жива.

Я открыл дверцу.

Внутри, между маятником и задней стенкой, висела нить.

Она была тонкая, светлая, натянутая от верхней части футляра к нижней, и посередине её стоял стежок — короткий, в два движения, сделанный моей рукой.

Стежок был тот же самый.

Я узнал его сразу — не по форме, а по манере: короткий, ровный, чуть светлее того, к чему его пришили; лезвие входило под углом, шло вбок и выходило с той аккуратностью, которая отличает работу от спешки. Так шью только я. Так шьёт только один резак на свете.

Я протянул руку и коснулся нити. Она отозвалась — не звуком, а тем, что по пальцам прошло тепло, ровное и широкое, какого не бывает у мёртвых вещей. Часы стояли, но время в них не остановилось: оно держалось, как держат дыхание.

— Что это? — спросил Ян за моей спиной.

— Не знаю, — сказал я честно.

Я попробовал резать. Лезвие прошло сквозь нить и не оставило следа — так же, как на барже, как в мастерской, — и в тот же миг маятник качнулся.

Один раз. Медленно, тяжело, будто преодолевая сопротивление воды. Стрелки дёрнулись назад — на минуту, — и снова замерли.

Аня вскрикнула и закрыла рот ладонью.

— Они пошли, — сказала она. — Ян, они пошли.

— Пошли, — сказал он тихо. — Назад.

Маня смотрела на часы широко раскрытыми глазами, и я увидел, что она не испугалась; она обрадовалась.

— Они оживают, — сказала она. — Вот видишь, мама, они оживают.

Я закрыл дверцу.

— Кто-нибудь приходил к вам? — спросил я. — В девятнадцатом или после. Ночью. Человек, который не стучал.

Аня опустилась на стул, не отрывая глаз от часов.

— Приходил, — сказала она.

Ян обернулся к ней.

— Ты никогда не говорила.

— А что я должна была сказать? — Она посмотрела на него, и в её глазах была не злость, а изнеможение. — Что ко мне ночью пришёл человек, которого я не знаю, и сказал, что ты вернёшься? Что я потом полгода ходила к попу и не могла сказать, с чем пришла? Что я думала, это мне мерещится от горя?

— Расскажите, — сказал я.

Она рассказала — коротко, как рассказывают о том, о чём давно решили молчать.

Было это в феврале двадцатого, ночью, когда она спала на этой самой кровати одна. Проснулась оттого, что в комнате стало холодно, — не зимой холодно, а как в погребе. У двери стоял человек. Лица она не запомнила, помнила только, что оно было заплаканное, и что он держал руки так, будто только что что-то выпустил.

— Он сказал: «Он вернётся, но не тот». — Аня говорила ровно, глядя в стол. — Я спросила: «Как это — не тот?» А он сказал: «Тот, но не такой». И ушёл. Через дверь, хотя она была заперта.

— Он был похож на меня? — спросил я.

Она подняла голову и посмотрела на меня внимательно, впервые за весь вечер.

— Нет, — сказала она. — То есть... — Она запнулась. — Похож. Как бывают похожи родственники. Он был как вы, только... — она поискала слово, — только живой.

Я стоял посреди чужой комнаты и слушал, как в углу стоят часы, и чувствовал, как во мне поднимается то, чего я не испытывал четыре тысячи лет: не страх, не гнев, а растерянность. Я знал всех, кто ходит по шву. Я знал их по именам, по походке, по тому, как они держат руки. И я не знал никого, кто был бы похож на меня и при этом плакал.

— Он больше не приходил?

— Нет, — сказала Аня. — Но я его жду. Каждую ночь.

Маня тем временем подошла ко мне и тронула за рукав.

— Ты его знаешь? — спросила она.

— Нет.

— А он сказал, что ты придёшь.

Я опустился на корточки, чтобы её лицо было на одном уровне с моим.

— Он так сказал?

— Он сказал: «За тобой придёт дядя. Не бойся его, он не злой». — Она посмотрела на меня серьёзно. — Ты не злой. Только грустный.

Я не нашёлся что ответить. За четыре тысячи лет мне говорили многое, но «не злой, только грустный» — впервые.

Ян подошёл к окну и стоял спиной ко всем, глядя на снег.

— Я не хочу возвращаться, — сказал он вдруг. — Вы понимаете? Все думают, что я должен радоваться. Жена, соседи, поп — все говорят: чудо, вернулся. А я не радуюсь. Я как будто должен жить чужую жизнь, и она мне мала, как чужая шинель.

Он обернулся.

— Вы можете это исправить?

Я смотрел на его нить — целую, светлую, с чужим стежком посередине, — и понимал, что не могу. Не потому, что не умею; потому, что нечего исправлять. Он был не сломан. Он был **сшит** — и шитьё держалось крепче, чем любая жизнь.

— Нет, — сказал я. — Пока нет.

— А потом?

— Не знаю.

Он кивнул, будто ждал именно этого ответа, и впервые за вечер улыбнулся по-настоящему — не горько, а с облегчением, как человек, которому сказали правду вместо утешения.

— Спасибо, — сказал он. — Хоть кто-то не врёт.

Я вышел на лестницу. Аня догнала меня на первой площадке, держась за перила, и спросила шёпотом, чтобы не слышали из комнаты:

— Вы за ним?

— Я не знаю, — сказал я.

— А когда узнаете?

— Когда найду того, кто его сшил.

Она долго смотрела на меня в темноте, и я видел, что она хочет спросить что-то ещё, но не решается. Потом сказала:

— Если найдёте — спросите у него, зачем. Не «как», а «зачем». Я не могу жить с человеком, который вернулся, и не знать, зачем.

Я обещал спросить.

В мастерскую я вернулся к вечеру, когда стемнело настолько, что часы на стенах стали видны только по блеску стёкол. Штерн уже зажёг лампу и сидел за столом, разложив перед собой части старухиных часов — пружину, колёсики, барабан, — и раскладывал он их не как мастер, а как хирург: аккуратно, по порядку, на чистой тряпице.

— Садитесь, — сказал он, не поднимая головы. — Я всё думал, вернётесь вы или нет.

— Вернулся.

— Это хорошо. — Он отодвинул один из колёсиков в сторону. — Смотрите сюда.

Я сел. На столе, между пружиной и барабаном, лежала та самая нить — вернее, её кусок, потому что часы были разобраны. Она была тонкая, светлая, натянутая между двумя латунными мостами, и посередине её стоял стежок.

— Это не волосок, — сказал Штерн. — Волосок я знаю, я их тридцать лет ставлю. Волосок — он металлический и упругий, он пружинит. А это... — он поддел нить кончиком пинцета, и она отозвалась мягко, как живая, — это не пружинит. Это держит.

— Давно вы это нашли?

— В этих часах — сегодня утром, когда вы ушли. — Он помолчал. — А вообще — третий раз за два года.

Он достал из ящика две другие вещи: карманные часы с треснувшим стеклом и маленькие дамские, в серебряном корпусе, с обломанным колечком.

— Вот эти, — он показал на карманные, — принесли в позапрошлом году. Хозяин умер в восемнадцатом, на фронте; вдова хотела, чтобы они шли. Я открыл — а там вот это. — Он кивнул на нить. — Я тогда подумал, что кто-то до меня пытался чинить и поставил вместо волоска что попало. Собрал, завёл — идут. Идут, представьте себе, ровно, как новые.

— А вторые?

— Вторые — дочкины.

Он сказал это без всякого перехода, и я понял, что для него это не отдельная история, а часть одной.

— Она умерла в пятом году. Дифтерия. Двенадцать лет было. — Штерн снял лупу и положил её на стол. — Я тогда сломался. Не пил, не буянил — просто перестал видеть смысл. Жена ушла через год, невыдержала. А я остался с часами. Вот с этими.

Он взял дамские часы и повертел их в руках.

— Через месяц после похорон я открыл их, чтобы завести, — и увидел вот это. Тот же стежок. Тот же угол.

— Вы пробовали его убрать?

— Пробовал. — Штерн усмехнулся. — Трижды. Он не убирается. Он не режется даже алмазом, а у меня был хороший алмаз, я им стекла режу.

Я смотрел на маленькие часы в его руках и думал о том, что стежок в них стоит, может быть, с того самого дня, когда девочка умерла, — и что всё это время часы шли.

— Вы знаете, что это значит? — спросил я.

— Я знаю, что часы врут, — сказал Штерн. — И знаю, что врут они не сами. — Он положил дамские часы обратно в ящик и закрыл его. — Вот и всё, что я знаю. Остальное — ваша работа.

Он помолчал, потом кивнул на напольные.

— Эти я купил в пятом году. Принёс матрос с парохода, который ходил в Любек; говорил, часы из каюты шкипера, шкипер умер, а наследники продают за бесценок. Я тогда как раз искал хороший механизм для практики. Купил, принёс, открыл — и увидел, что они идут назад.

— Вы пробовали их починить?

— Пробовал. — Штерн усмехнулся. — Полгода пробовал. Перебирал их трижды, менял маятник, менял спуск, вытачивал новые шестерни — они всё равно шли назад. Я тогда решил, что это не часы, а недоразумение, и хотел их выбросить. А потом умерла Мари, и я не выбросил.

Он сказал это ровно, без нажима, и я понял, что он рассказывает не о часах, а о том, как научился с ними жить.

— Через месяц после похорон я заметил, что за стеклом бывает полоса. Не всегда, а когда в комнате кто-то умирает. Я тогда жил один, у меня никто не умирал, и я решил, что схожу с ума. Потом умер сосед — и полоса появилась снова. — Он снял лупу и протёр её. — С тех пор я смотрю. Иногда вижу, как через неё проходят. Не лица — тени. И знаете, что я вам скажу: они не спешат.

— Кто они?

— Те, кого не взяли.

Он сказал это так просто, будто речь шла о соседях, которым не хватило места в трамвае.

— Они проходят через вашу дверь? — спросил я.

— Не через дверь. Скорее мимо. — Штерн почесал бровь. — Знаете, как смотришь на улицу сквозь мокрое стекло: видишь, что кто-то идёт, а куда и зачем — нет. Вот так и здесь. Один раз я видел женщину с ребёнком. Она шла и держала его за руку, а он обернулся и помахал. — Старик помолчал. — Кому махал — не знаю. В комнате, кроме меня, никого не было.

Я стоял и смотрел на полосу серого света за стеклом, и мне вдруг показалось, что пылинки в ней двигаются не вверх, а в сторону — медленно, упорно, как идут по дороге, у которой нет конца.

— И вы их не боитесь, — сказал я.

— Я боюсь, — сказал Штерн. — Просто не тех, кого следует. Я боюсь, что однажды увижу там Мари и не смогу её позвать.

Он встал и подошёл к напольным часам, которые шли назад, и снял с них чехол. Маятник качался, стрелки ползли справа налево, и в пыльном воздухе за стеклом висела та же полоса серого света.

— Я его видел дважды, — сказал Штерн, глядя в стекло. — Первый раз — на барже, в девятнадцатом. Я тогда ходил туда с инструментом: у тифозных часы останавливались, а родня просила их починить, чтобы не пропало. И вот я стою над Яном, а рядом стоит человек. Я подумал — фельдшер. Потом посмотрел на лицо.

— И?

— И не смог запомнить. — Он помолчал. — Как будто смотришь на человека, а глаза соскальзывают. Я тогда решил, что устал. А через год он пришёл ко мне сюда. Ночью. Сказал: «У вас есть часы, которые он держал». Я не понял, о чём он. Он показал на эти. — Штерн кивнул на напольные. — И заплакал.

— Заплакал?

— Да. Стоял и плакал, как ребёнок, без всякого стыда. — Старик помолчал. — А потом сказал: «Не чините их. Пусть идут назад. Так честнее».

Он опустил чехол и обернулся ко мне.

— Вы похожи на него. Не лицом — лицом вы похожи меньше, чем он на вас. Вы похожи тем, как стоите. Будто всё время чего-то ждёте.

Я не стал спрашивать, чего. Я и так знал.

— Если встретите его, — сказал Штерн, — не спрашивайте, кто он. Он не ответит. Спросите, что он потерял.

— Почему?

— Потому что он плакал не о себе. — Старик снова сел за стол и пододвинул ко мне маленькое латунное колёсико, то самое, что отложил в сторону. — Вот. Возьмите.

Я взял. Колёсико было тёплое, с одной стороны сточенное, и на ободе у него был маленький запил — не фабричный, а сделанный вручную, торопливо.

— Это не от этих часов, — сказал Штерн. — Оно лежало внутри, между мостами. Я таких не делаю и не видел никогда. Может, оно ваше.

Я повертел колёсико в пальцах. Оно было лёгкое, почти невесомое, и в нём не было ни одного из тех признаков, по которым я узнаю свои вещи: ни света, ни тепла, ни следа лезвия. Просто кусок латуни, сточенный с одной стороны.

— Спасибо, — сказал я.

— Не благодарите. — Штерн посмотрел на меня поверх лампы. — Я не из доброты. Я старый и хочу знать, чем это кончится. Мне осталось мало, а вы, судя по всему, никуда не торопитесь.

Он проводил меня до двери и, когда я уже поднимался по ступеням, сказал вдогонку:

— И ещё. Когда найдёте его — не режьте сразу. Сначала спросите.

— О чём?

— О том же, о чём спрашивают всех, — сказал он. — Зачем.

Дверь закрылась, и я остался на улице, в снегу, с латунным колёсиком в кулаке.

Я не пошёл домой. Дом на шве был пуст и темен, и сидеть в нём, глядя на тетрадь, было бы так же бесполезно, как считать шаги в пустой комнате.

Я пошёл к госпиталю.

Он стоял на пригорке за бывшим реальным училищем, длинный, кирпичный, с высокими окнами, в которых горел свет через одно. В двадцать первом году в Вереске не хватало всего — дров, хлеба, бинтов, — но свет в госпитале не гасили никогда, и это было единственное, что город мог себе позволить из милосердия.

Я стоял на улице и смотрел на окна. В одном из них, на первом этаже, двигалась тень — низкая, быстрая, с чем-то в руках; я узнал её раньше, чем понял, что узнаю. Женщина из морга. Она работала и ночью.

Я не пошёл внутрь. В морге мне сегодня делать было нечего: там лежали те, кого я уже проводил, а те, кого я не проводил, лежали не там.

Я пошёл дальше, к реке.

Вереск ночью пахнет иначе, чем днём: не дымом и не хлебом, а водой и железом. Река у порта не замерзала до января — её мешали винты и течения, — и в чёрной воде отражались огни барж, стоявших на приколе, и эти отражения дрожали, хотя ветра не было.

Я сел на тумбу у причала и достал колёсико.

При свете фонаря оно выглядело обыкновенным: латунь, сточенная с одного края, с маленьким запилом на ободе. Я повертел его так и этак, поднёс к глазам, понюхал — металл как металл, холодный, с запахом масла.

А потом я сделал то, что делаю с любой незнакомой вещью: приложил к ней лезвие.

Лезвие вошло в запил.

Не «коснулось» и не «легло рядом» — вошло, точно в паз, с тем коротким щелчком, с каким ключ входит в замок, если замок сделан под этот ключ. Запил был не случайным: он был выточен по форме моего лезвия, по его толщине, по его изгибу, и в нём даже был тот крошечный скос, который я никогда никому не показывал, потому что он появляется от того, как я держу руку.

Я вынул лезвие и посмотрел на колёсико.

Кто-то делал деталь под мой разрез. Не копировал лезвие — это было бы просто; делал **место** для него, как делают гнездо для оси. И это место лежало внутри часов, которые остановились в день смерти.

Я сидел на причале и слушал, как вода бьётся о сваи, и в голове у меня было очень тихо и очень ясно. Я никогда не задумывался, из чего сделан шов. Он был для меня данностью, как свет и как цена; я резал, и граница держалась, и этого было достаточно. Но если у разреза есть место — значит, есть и механизм; а если есть механизм, то у него есть мастер.

Мастер, который умеет резать моей рукой и шить чужой нитью.

Мастер, который плакал у Штерна и говорил «ещё рано».

Мастер, которого видели на барже в девятнадцатом и у Ани в двадцатом, — и оба раза он был похож на меня так, как бывают похожи родственники.

Я сунул колёсико в карман и встал.

И в этот момент обнаружил, что у меня дрожит рука.

Это было не то дрожание, которое бывает от холода или усталости. Рука дрожала мелко, ровно, как дрожит стрелка компаса, когда рядом есть что-то большое и её тянет к нему. Я поднял лезвие, чтобы проверить, — и лезвие качнулось.

Я опустил его и сжал кулак. Дрожь не прошла.

За четыре тысячи лет моя рука не дрогнула ни разу. Я резал в темноте, в огне, в воде, на краю обрыва, в чумных бараках, где под ногами хрустело стекло; я резал, когда вокруг кричали, и когда было тихо так, что слышно было, как останавливается сердце. Рука была единственным, что не подводило.

Теперь она дрожала, и я знал, почему.

Разрез — это не сила. Разрез — это точность. Если рука дрожит, шов выходит кривым; если шов выходит кривым, остаётся рубец; если остаётся рубец, через него может пройти что угодно. Я держал границу не потому, что был сильнее Сада или Горна, а потому, что моя рука была ровной. Все это знали. Все ждали, когда она дрогнет.

И вот она дрогнула — в тот самый вечер, когда я узнал, что кто-то уже режет моим хватом.

Я стоял на причале, смотрел на чёрную воду и думал о том, что теперь у меня нет ни одного преимущества: ни памяти, ни имени, ни ровной руки. Осталось только лезвие и упрямство.

Упрямства у меня было много. Четыре тысячи лет — это, если разобраться, немало упрямства.

Дом на шве встретил меня серым светом, в котором не было ни утра, ни ночи. Я зажёг лампу — не потому, что мне было нужно, а потому, что хотел видеть бумагу, — и сел к столу.

Тетрадь лежала раскрытой на той же странице. Я перечитал свою запись — «Ноябрь. Вторая Слободская. Старуха с напёрстком. Шов мой. Нить цела» — и почувствовал, как она мала. Одна строка на событие, которое отменяло всё, что я знал о собственной работе. Так не работают. Так записывают то, что боятся забыть, но не хотят понимать.

Я взял перо и начал заново.

Первым я записал Яна: «Ковач. Баржа. Девятнадцатый. Шов мой. Нить цела. Стежок чужой нитью». Потом подумал и добавил: «Возвращён. Не тот».

Вторым — старуху: «Вторая Слободская. Двадцать первый. Шов мой. Нить цела. Стежок чужой нитью». И, помедлив: «Не умерла».

Третьим — часы на Столярной: «Часы Ковача. Остановились в девятнадцатом. Внутри нить. Стежок мой». Это была уже не смерть, а вещь, и от того, что вещь попала в один список со смертями, мне стало не по себе.

Четвёртым — колёсико: «Латунь. Запил под лезвие. Не моё. Не знаю чьё».

Я посмотрел на четыре строки и понял, что у них есть общее: везде был мой стежок и чужая нить. Везде работа была сделана моей рукой и не мной. И везде между двумя моими мгновениями был провал — маленький, аккуратный, с ровными краями.

Я закрыл глаза и попробовал вспомнить хоть один из этих провалов — не событие, а сам провал, его край, его вкус. Ничего. Память в тех местах была гладкой, как отполированная доска, и я не мог даже сказать, чего в ней не хватает.

Тогда я сделал то, что делают все ремесленники, когда не понимают вещь: разложил её на части и стал смотреть, какая из них лишняя.

Лишним было колёсико. Оно не принадлежало ни часам, ни городу, ни, может быть, этому миру; оно было выточено под мой разрез, и его нашли внутри механизма, который остановился в день смерти. Если бы я был человеком, я бы сказал: это улика. Но я не был человеком, и потому сказал точнее: это часть **чего-то**, что работает.

Я достал лезвие и положил его рядом с колёсиком на стол. Они лежали вместе — тусклый клинок и кусок латуни с запилом, — и в сером свете было видно, что они подходят друг к другу так, как подходят детали одного механизма.

Тогда я взял лезвие в руку и подержал его на весу, как держу перед работой.

Рука дрожала.

Я перехватил крепче. Дрожь не унялась; она стала ровнее и от этого заметнее, как ровный дождь заметнее ливня. Я попробовал найти свой угол, тот самый, который знал наизусть, — и не нашёл: угол был, но рука не слушалась, и лезвие ходило в ней, как ходит плохо закреплённое сверло.

Я положил его на стол.

За четыре тысячи лет я ни разу не задумывался, что будет, если рука перестанет быть ровной. Работа казалась мне такой же неотменяемой, как восход; я не представлял себе утра, в которое не смогу резать. И вот оно наступило — тихо, без грома, в комнате с одной лампой и четырьмя строками в тетради.

Я сидел и слушал, как идут часы на стене. Они шли ровно, без перебоя, как шли всегда, и в их ходе не было ни насмешки, ни утешения — только время, которое не заметило, что я перестал быть тем, кем был.

За окном светало. Над Вереском поднимался туман, и в нём тонули крыши, кресты и трубы; город становился похож на рисунок,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.